

А. И.  
ЭРТЕЛЬ

*Сочинения*



# Александр Иванович Эртель

## Земец

«Лица их являли вид мрачный и решительный. Ни один из них не захотел облегчить моего положения. Ни один не поинтересовался ни откуда я, ни кто я. Ограничились только тем, что обвели недоброжелательным взглядом фигуру мою, облеченную в куцое пальто, и мою заводскую кобылу. Они неподвижно сидели у костра, я уединенно ежился на дрожках...»

**Александр Иванович Эртель**  
**Земец**

Соблазнительные дорожки пробегают иногда по нашим полям. Едете вы от села до села по торному, обыкновенному пути и с негодованием примечаете, что путь этот как-то необычно колесит и забирает влево, а между тем то и дело попадаются едва проторенные дорожки, по-видимому прямо ведущие к цели. Правда, дорожки эти почти сплошь заросли полынью и кашкой, и глубокие колеи едва заметны в цепкой и густой траве; правда, пристяжные ваши беспрерывно путаются в высокой ржи, буйно обрамляющей узкий проезд, и то и дело приникают к аппетитному овсу, но зато так заманчиво и так, по-видимому, близко сверкает впереди знакомая колокольня, что вы забываете все неудобства заглохшей межки и едете, едете... Но вот колокольня передвинулась налево, вот она и совсем потонула вдали, вот снова сверкнула девственной белизною на голубом небе, но сверкнула уже совсем в неподобающем месте, а коварная дорожка кружит, и виляет, и змеится по полю, и ведет вас в неведомое пространство. И в душу вашу мало-помалу вкрадывается тревога, и зло разбирает вас на

глухую дорожку, и с невольной жалостью думаете вы, как бы это было хорошо, если бы не сворачивали вы с торного, обыкновенного пути. Наконец вы с отчаянием замечаете колокольню далеко сзади. Всякая уверенность покидает вас. А полынь и кашка слабо трепещут под колесами вашего экипажа, пристяжные шаловливо срывают колосья, кучер ваш недовольно ворчит, и сумрачное небо лукаво ползет, и хмурится, и загорается звездами...

Вот по такой-то дорожке ехал я под вечер одного погожего июньского дня, пробираясь в знакомую мне усадьбу. По расчетам моим, усадьбе этой, отстоящей от Грязнуши верстах в двадцати, давно бы уж следовало зазеленеть своими кровлями и забелеть каменными стенами своих флигелей и конюшен, а между тем дорожка бежала себе да бежала без конца, прихотливо извиваясь вокруг кустов и окладин, круто взбегая на холмы и спускаясь в пологие долины. Ясно было — я заблудился. Вечерело. Солнце медлительно опускалось за холмы. На поля ложилась роса. Свежая сырость проникала воздух.

Местность предо мной расстилалась совер-

шенно незнакомая. Какие-то стога чередовались с полем, засеянным гречихой; степь, усеянная копнами, перемежалась синими кустами; неведомые колокольни белелись там и сям... И чем дальше бежала дорожка, тем более и более уставала добрая заводская кобыла, запряженная в мои дрожки, тем все таинственнее и страннее казалась мне окрестность. Солнце село. Слабая заря погасала тихо и кротко. В темном небе задумчиво светились звезды. Беспредельное поле, изборожденное тенями, уплывало вдаль, незаметно сливаясь с небесами. Запах сырости переполнял недвижимый воздух. Роса обильно мочила мое пальто. Мертвая тишина царила окрест. Только в далекой и неопределенной темноте иногда слышались смутные голоса и от времени до времени раздавалось звонкое лошадиное ржание.

А дорожка привела меня к лощинке и пропала. Я слез-с дрожек, оглянулся... Кобыла моя тоже подняла голову и даже фыркнула от избытка недоумения... Но путь наш не прояснялся перед нами. Перед глазами нашими была лощинка, из глубины которой тянуло кис-

лым запахом болотной, растительности; далее виднелась пашня, едва отделявшаяся своей чернотой от темной зелени лощинки; еще далее темнел какой-то холм, круто вздымавшийся на фоне бледной зари... и ничего более. Я сел и поехал целиком. Колеса беспокойно затрещали по кочкам. Мимолетный ветер зазвенел в камыше. Где-то, у самых ног лошади, дерзко и дробно затрещал перепел. Я унывал. Я уже раздумывал найти копну или стожок и заночевать около них, но в это время в темноте сверкнула искра и веселое пламя длинным языком облизало небо. Я поехал на огонь. Ехать было тяжело и неудобно: кочки сменялись пашнею, пашня неоднократно перемежалась бобовником и полынью. Огонь оказался не близко. Добрую версту пришлось потрудиться моей кобыле. Но у огня был народ, и я утешился. Молодые безусые парни сосредоточенно сидели на корточках и варили кашу. Их было трое. Я спросил, далеко ли до Перхотина (знакомая мне усадьба). Было далеко. Я назвал село, ближайшее к усадьбе. И село оказалось совершенно в противной стороне.

— Но где же я?

Мне назвали местность, отстоящую от Перхотина в добрых десяти верстах. Продолжать путь нечего было и думать; приходилось ночевать. Но ночевать в поле мне не хотелось: было сыро и неудобно. Да к тому же, надо правду сказать, безусые парни были куда как неприветливы, и на приветствие мое и на вопросы отвечали они неохотно и сурово. Лица их являли вид мрачный и решительный. Ни один из них не захотел облегчить, моего положения. Ни один не поинтересовался ни откуда я, ни кто я. Ограничились только тем, что обвели недоброжелательным взглядом фигуру мою, облеченную в куцое пальто, и мою заводскую кобылу. Они неподвижно сидели у костра, я уединенно ежился на дрожках. Но тут из темноты вышел какой-то старик. Узнав в чем дело, он важно и многозначительно подошел ко мне и подал руку.

— Вы чьи будете? — спросил он.

Я сказал.

— А едете куда?

Я и это объяснил.

Оказалось, старик знал владельца Перхо-

тина.

— Они гласные, — произнес он и затем добавил: — И я гласный. Гласный Онисим. Может, слышали? Не-эт? Ну, не знаю, — меня все господа знают. Я Онисим.

Он помолчал. Я поглядел на Онисима. Глазки его, которым он старался придать выражение важной снисходительности, по временам глядели с явным подобострастием. Желтоватая борода степенно опускалась на грудь. Сморщенный носик смотрел внушительно.

— Я — Онисим, — повторил он и ухватил бороду в кулак. — Как же! Меня господа знают. Я гласный... — и, как будто спохватившись, добавил: — Вот, на пахоту пришел. На счет порядка, например. Ребята молодые, я и слежу; нельзя!.. Я вижу, — я все вижу. У меня ежели огрех — я проберу, ежели сошник сломан — ключку задам, пахота мелковата — выволочку. Хе-хе-хе... Я не люблю этого. Меня и господа знают.

— Ну чего, старик, врешь? Чего врешь!.. — брезгливо воскликнул один из ребят; другие неопределенно усмехнулись.

Старик пропустил мимо ушей восклицание, но на усмешку внимание обратил.

— Смейтесь, смейтесь, — обидчиво сказал он и внушительный носик его внезапно поникнул плачевно, — смейтесь... Меня господа почитают, а вы смеетесь. Меня, может, сам исправник... я, может, с самим Назар Назарычем... Мне, может, сам Митрофан Семеныч летось... Что ж, смейтесь! И старик, как мне показалось, даже всхлипнул от огорчения.

Молодые ребята помолчали немного и, помолчав, вяло произнесли:

— Что ты, дедушка!.. Аль мы как... Нешто мы не понимаем!

Старик горделиво приосанился.

— Эх, собачьи вы, собачьи дети! — в шутовском тоне воскликнул он и затем, обращаясь ко мне, прибавил кратко: — Внуки мои.

Я присел к ним и закурил папиросу.

— Уважьте и меня, старика, — произнес Онисим, — избаловали господа люблю табачок. Это турецкий? Эх, люблю я турецкий табачок!

Я дал ему папиросу, и он важно зажег ее. Внуки усмехнулись не без презрительности.

Вообще относились они к Онисиму странно: то как будто негодовали на него, то снисходительно над ним посмеивались. Он старался не замечать этого. Вместе с тем, он до последней возможности отвлекал мое внимание от внуков. Когда же неуважение внуков явно обострялось и уже окончательно грозило потрясти Онисимов авторитет, он плаксиво поникал носиком и беспомощно обижался. Тогда внуки смирялись.

Между прочим, Онисим спросил меня: не гласный ли я и не ихнего ли уезда. Оказалось, что не гласный и уезда иного. Тогда в его почтительном обхождении со мной зазвучала покровительственная нотка. Деликатное *вы*, которым беспрестанно угощал он меня, чаще и чаще стало заменяться фамильярным *ты*...

— Ты знаешь Марка Панфилыча, мирового? — говорил Онисим, — ну, он мне друг. Как ни приеду, сейчас это — чаю, водки и пошла писать. Барин добрый. Ну, и я для него... Я для него большой приятель, прямо надо сказать. А предводителя знавал? Митрофана Семеныча? И он друг. Барин большой, а меня почитает. Не токмо что чай там аль иное что, обе-

дать с собой саживал. Мужик я, а он саживал. Важный барин. И детки у него — важные детки: мужик я, а они понимают — гласный!.. Всякий почет мне. На это у них строго.

Тут он торопливо бросил папиросу и хотел было подняться, но поглядел на меня и нерешительно сказал:

— Митюх! Окороти-ка мерина-то, ведь это он на господские луга попер...

Митюха, коренастый малый с рябым и сонным лицом, не спеша повернул свою толстую шею и, взглянув туда, где едва белелся серый мерин, проронил сквозь зубы:

— Небось не объест, — луга-то у *них*, знаем, какие...

— *Он* небось у нашего брата луга-то оттягал!.. Пора *их*, дьяволов, обничтожить!.. Их не токмо луга, самих бы, чертей... — хором подкрепили внуки Митюху.

Онисим хотел что-то сказать, но развел руками, плюнул и побежал за меринком.

А мне хотелось решить вопрос, бесконечно интересовавший меня.

— Нет ли близко жилья тут ночевать бы мне? — спросил я.

— Жилья как не быть — есть... Жигулевка есть... — нехотя ответил один из ребят после некоторого молчания.

— Так не проводит ли меня кто-нибудь из вас, а? Я бы заплатил.

Парни снова помолчали, и уже несколько спустя один из них нерешительно произнес:

— Кто ее знает, как проводить-то... Темень, волки ее ешь...

— Небось дед проводит; он рад, — насмешливо подхватил другой, — ему ежели подлизаться: — он провалиться готов! Его хлебом не корми.

— Падок до господишек, — кратко отозвался третий и посмаковал кашицу.

— Что ж, пуцай! Человек он преклонный, пуцай его! — произнес первый в более благодушном тоне и затем закричал навстречу Онисиму:

— Дедушка! Проводи вот барина в Жигулевку! Он угощенье тебе поставит... Он говорит: заплачу... Ступай!

— Эх вы! — с пренебрежением отозвался Онисим. — Ребята вы молодые, а чуть что — дедушка! Я, брат, провожу!.. Я не токмо в Жи-

гулевку, я куда хочешь провожу... Только я в Жигулевке ночую. У целовальника ночую. Он меня знает. Он летось у Марка Панфилыча ноги целует, — в острог ему выходило, а я с барыней сажу да чаек попиваю, хе-хе-хе!.. Он меня почитает.

Мы собрались. Онисим солидно и крепко подтянул кушак и степенно расправил бороду. В его руках очутилась щегольская яблоневая палочка. Подошед к дрожкам, он важно и медлительно сел сзади меня и многозначительно произнес, поглаживая бороду:

— Ну, слушайте, ребята: вставать раньше. День жаркий, зорькой самая пахота. Ты, Васька, подвои опусти: мелка у тебя борозда. Опусты подвои. Сивой кобыле под седелку стельку подложи. Да палицы-то поберегайте! Палицы стальные, вы их и поберегайте. Ну, жеребчишка пускай борону затылком таскает — ему способней затылком ее. Лошадь она молодая, нужно ее поберегать!

Внуки с явным нетерпением внимали внушениям Онисима. Один даже воскликнул: «Э, уж будет бы...» — и присовокупил к тому еще довольно едкое словцо, но Онисим до конца

сохранил невозмутимость.

— Я подойду ужю! Послежу... Старайтесь! — серьезно заключил он свою реплику.

Мы тронулись и внезапно очутились во тьме. Кобыла недовольно фыркнула. Колеса беспокойно запрыгали по пашне. Онисим осенил себя размахистым крестом и внушительно крякнул.

— Никак нельзя без страху! — сказал он, когда уж мы далеко отъехали от костра.

Я промолчал.

— Без страху по нонешним временам никак невозможно, — повторил он настоятельно.

— Отчего же?

— Народ ноне стал отчаянный. Ноне такой стал народ — не подходи к нему. Зверь народ. Ни совести в них, ни страху. Вы вот, *позвольте* посмотреть, внуки мои, — известно, я слежу, я наблюдаю, — но только, не будь меня, тебе бы пришлось бы в поле заночевать. Малый молодой, он об чем теперь думает? Ему было бы одно теперь: как-никак барина избидеть. Я вам про себя скажу. Меня господа знают. Заехал как-то ко мне мировой. (Я

житель хороший; я принять могу; кабы не далеко, я бы тебя принял, — далеко.) Ну, заехал он, а Васька идет мимо, — шапки не ломает, а? Я говорю ему после: «Что ж ты, говорю, Васька, об себе думаешь, что ты шапку, собачий сын, не ломаешь?..» — Эх, лучше и не говорить!..

И Онисим тяжело вздохнул.

— Никакого уважения нет! — продолжал он немного погодя. — Отец ежели духовный — вроде как наплевать ему; купец — купцу и названья опричи нет, как аспид толстопузый... Что же это такое?.. Ну, это, положим, так; ну, положим... Потому насчет ежели благородства, этого нет у них... Но возьмем теперь господина. Как же это так? У иного, может, чинов сколько, а? И как же это шапки не ломать, а? — Он несколько подумал и затем добавил грустно: — Отчаянный народ!

Мы выехали на межу и поехали шагом. Тьма теперь прояснилась перед нами, и глаза свободно отличали холмистую поверхность земли от неба.

— Я вот вам про себя скажу... — начал опять Онисим, на этот раз впадая в несколько

умиленный тон. — Я гласный. Я гласный, а во мне этого нет, чтоб зазнаваться, например. Я знаю — господину я нужен. И я уважаю. Ты посмотри теперь в земстве на меня. Я смотрю. Как чуть поднялся ежели Назар Назарыч, я уж понимаю, я встал. И опять я наблюдаю. Я, например, вижу, куда господин клонит. Господин говорит, а я слежу. А проговорил он, я встану и говорю, например... «Господа гласные, говорю, так и так»... А господин рад. С того мне и почет от господина. Я, брат, к какому барину ни приеду, мне везде почет. А почему? — Потому: нет во мне гордыни этой. Не занимаемся мы этими делами. Я так рассуждаю: ну, гласный я. Ну, и захотел ежели я мировому там аль Назар Назарычу неудовольствие какое сделать. Это я могу, чтоб неудовольствие, дело это нехитрое. Ну, а после того? После того прямо я вроде как оглашенный. Не токмо мне почету тогда, али в хоромы к себе, али там ручку протянуть, — напротив того, каждый меня по шее может съездить. С нашим даже удовольствием засветит по шее!.. Везде ум. Я вот веду свое дело, и меня почитают. Ты вот погляди: приедем мы те-

перь к Михею, — целовальник вот в Жигулевке, — ты погляди, как Михей завертится. А отчего? Оттого — господа меня знают. Гласный гласному рознь. Я, брат, какой гласный? Я прямо за господами наблюдаю. Услугу им ежели, это прямо Онисим. Ты вот погляди — выборы подойдут. Онисим-то мужик, а Онисима на руках носят. Иного, может, барина к Назар-то Назарычу не пустят, а Онисиму первое место. И я это знаю, я верен. Через мои руки, может, тысячи прошли, а я верен. А то есть такие из нашего брата: придет в город, отсидит как на барщине, например, и попрется не солоно хлебавши. Это дураки. Есть еще и из писарей. Из писарей, те, как-никак, в члены норовят. Хорошие тоже есть ребята — важно угощают!..

Тут дрожки наехали на что-то и прыгнули. Онисим остановился. Но, помолчав немного, он снова продолжал:

— Ты не гляди — мужик я. Я, брат, в город приеду — не выхожу от господ. Ноне к одному, завтра к другому. Так и хоровожусь, как на празднике! Люблю я это... Эх, хорош обиход господский! — Онисим даже сплюнул от

восхищения. — Теперь, взять еду у них ежели — эх, важная есть еда!.. Аль опять водки поднесут, например...

И он замолчал в раздумье. Вдали замелькали редкие огоньки и глухо залаяла собака.

— Жигулевка! — объяснил Онисим и, как-то странно пожевав губами, произнес, умиленным тоном: — А что, хотел я вас спросить: водка есть нальешь ее, так иголками она, иголками... Знаешь, в ключе иной раз? Так тебе и выворачивает, так и выворачивает, например... Ты знавал такую водку?.. Я пивал. Летось Марка Панфилыча выбрали в мировые, он меня этой водкой угостил. Шесть целковых она! И сладка, брат... Эх, сладка, пропасти на нее нету!.. — И Онисим опять сплюнул.

Мы миновали сонную деревушку и подъехали к кабаку. В кабаке тоже собирались спать. На нашу просьбу отворить двери вышел с фонарем в руках босой и полураздетый Михей. Это был ражий чернобородый мужик с толстым лицом цвета раскаленной меди и с раздраженным взором. Впрочем, он, тотчас же как узнал Онисима, переполнил взор этот благосклонностью. Мы вошли. Полногрудая

Михеева супруга проворно юркнула за перегородку, придерживая высоко оголенной рукою распахнутую сорочку. В комнате пахло водкой и однообразно трещал сверчок. По чистому сосновому столу задумчиво бродили тараканы.

— Узнал? — проговорил Онисим, влезая в избу и ища глазами икону. Хе-хе-хе... Я самый. Где Матвеевна-то? Пускай идет, пусть поблажает старику; скажи ей: гласный, мол! Онисим.

— Слышу я, дядюшка. Дай прибраться, выйду! — отозвался из-за перегородки свежий женский голос.

— То-то. Выходи, лебедка. Я старик, а баб уважаю. — Он обратился к Михею: — Ну, Михей, приятеля вот к тебе приспособил: успокой. Не знаешь? Это барин с Грязнуши. Ты ему давай всего — он заплатит. Он барин важный. Он друг мне. Заблудил.

Михей зажег фонарь, взял ключи и скрылся. Ласковое ржание моей кобылы донеслось до меня. Затем заскрипели ворота, и гулко загремели дрожки, въезжая на двор. Я поглядел в окно: тень Михея прихотливо колебалась и

переступала исполинскими шагами. Лучи фонаря проникли под навес и ярко мелькали там, освещая порой равнодушную морду коровы, порой — пегий круп лошади. Немного спустя к нам вышла супруга Михея. Она повидалась с нами и захлопотала около самовара. А через полчаса все мы сидели за столом, пили чай и тянули вишневку. Онисим даже успел зарумяниться. Он был в превосходном расположении духа. И сам Михей и Михеева жена Матвеевна, красивая баба с заигрывающими манерами, очевидно ухаживали за ним.

— Он у нас — сила! — говорил Михей. — Он у нас по уму по своему, прямо надо сказать, министр. Он, может, сколько мировых поставил на своем веку, сколько членов произвел...

— А ты как думал? — бахвалился Онисим, изрядно разнеженный наливкой. Я, брат, человек ничего себе, например. Я, брат, мужик. А которые господа замест отца меня почитают, — это ничего. Пущай! Мы видали, например...

— Уж ты, дядюшка, ума палата. Знаем мы,

как господа-то за тобой увиваются. Чай, Онисим-то на весь уезд гремит! — поддакивала Матвеевна, до соблазнительной близости пригибаясь к старику.

— Что ж, не правда разве? — возразил старик. — Разве Онисиму нет уваженья, например? Ну-ка, скажи, Михей, как Онисиму нет уваженья? Ну-ка в острог тебе выходило, кто тебя отстарал? А?

— О господи... — в преизбытке чувств воскликнул Михей и, моментально скрывшись, возвратился с маленькой бутылочкой «тотинского» в руках. Ни слова не говоря, а изображая в лице своем одно немое достоинство, он с треском откупорил бутылку и наполнил стакан, стоящий пред Онисимом.

Лицо Онисима изъявило восторженную радость. Устремив на шипящий стакан блистающие глаза, он как-то смешно шевелил бровями и восклицал в восхищении:

— Ишь, ишь играет!.. Иголками, иголками!.. Эк ее разбирает... Эк ее... Ах, дуй те горой!.. — и затем с наслаждением выпил.

Михей и еще налил ему. Лицо Михея являло вид скромного великодушия. В красивых

глазах его супруги светилось умиление.

Я захотел спать и попросил указать мне постель. Ее приготовили под навесом двора. Там было славно и прохладно. Запах свежести и дегтя, смешанный с ароматом молодого сена, переполнял воздух. В глубине двора кобыла моя хрустела овсом и от времени до времени шумно фыркала. Где-то однообразно жевала свою жвачку корова. В вышине петух иногда хлопал спросонья крыльями и тотчас же засыпал снова. Сквозь отверстие в крыше виднелось небо. Тихое и темное распростиралось оно надо мною. Яркие звезды горели в нем важно и задумчиво. А в избе горел огонек, и Онисим заплетающим языком говорил:

— Я свое дело веду тонко, — меня господа замест отца, например...

Рано утром я выехал из Жигулевки.